

Аннотация

«Смерть никто не считает» – роман, в котором все повествуется классиком русской и мировой литературы Ф. М. Достоевским. Бермудская «зона» с многочисленными чудесами и таинственным Стражем порога, наконец, сам Океан – вовсе не главные герои. Главные – это русские моряки-подводники, попавшие «в тиски экстремальной нравственности». А их подлодка – «исповедальная барокамера, где нагнетается такое моральное давление, под которым память выдает подспудное».

Достоевщина? Скорее, «пропетая сердцем сказка про Человека». Человека, который возвысил голос и сказал, что «бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие». Конец света. Ядерный апокалипсис.

Смерть никто не считает

Посвящается моей жене

*Уж сколько людей померло, а смерть никто не считает.
Андрей Платонов. Чевенгур*

*Военно-Морской Флот должен иметь способность
нанесения неприемлемого ущерба противнику
в целях его принуждения к прекращению военных действий
на условиях гарантированного обеспечения национальных
интересов Российской Федерации.*

***Основы государственной политики Российской
Федерации в области военно-морской деятельности***

*Море уходит вспять.
Море уходит спать...*

Владимир Маяковский. Неоконченное

Глава первая

В конце июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей клетушки, которую снимал в Г-м тупике, на улицу и медленно, как будто колеблясь, отправился к А-ву мосту.

Хозяйку свою он, к счастью, не встретил. Сейчас ему вовсе не хотелось перед ней изворачиваться, извиняться и лгать, что, как только мать денег пришлет, он рассчитается за гостеванье. Впрочем, эта вспухшая, с девственными щеками хозяйка не очень-то и напирала бы насчет платы, будь он помарьяжней с нею. Но в последнее время молодой человек, слыша призывное царапанье ее ноготков в дверь, почему-то не открывал. Гасил лампю и притворялся, что его нет, хотя она точно знала, что из своей клетушки он даже не выходил. Ее белые матовые коленки еще больше белели, она тосковала и злилась.

Молодой человек тронул аттические усики.

«На какое дело хочу покуситься, а от бабешки таюсь! – поморщился он. – Как же это верно подмечено, что все в руках человека, и все-то он мимо носу пронесит, единственно от одной трусости... это уж аксиома... Испугаться нового шага, нового слова – это не все равно что испугаться гада пустыни – скорпиона... О, что за дичь!.. И зачем я теперь-то выскочил? Разве с моей кишкой на такое выскакивать?..»

Вороны расчесывали крыльями знойный воздух.

Многие окна были распахнуты, но занавески не надувались пузырем и не проникали глубоко в комнаты. Молодой человек вглядывался в дома цвета жидкой похлебки, пока на берегу Невы перед ним не предстала огромная полусгнившая распивочная. Нестерпимо воняло соленой рыбой, и какой-то пьяненький горланил песню:

*У боярина жена лакома,
Отвернет на сторону,
Да не всякому...*

В распивочную молодой человек не зашел, а напротив – удалился от нее и от реки. Путь он держал – и теперь это было совершенно ясно – к зевастой подворотне. Вскоре он юркнул туда, пересек петлистый, замуравленный травой двор и оказался перед подъездной дверью. Набрал код. А когда дверь затворилась, постоял, прислушиваясь, на лестнице и прокрался на четвертый этаж.

Все то время, что молодой человек был в квартире Алёны Ивановны, минуты падали как ножи, вызывая у него страх и омерзение. Пока он убивал старуху-процентщицу, пока лушил топором по голове ее несчастную сестру Лизавету, некстати вернувшуюся домой, ему казалось, что время сделалось ракоходным. И, терпя бедство, только случайно не остановилось вовсе.

Как он потом очутился в своей клетушке в Г-м тупике, молодой человек не постигал. Несколько дней кряду колотился в лихоманке. Жара в животе. Такое обмирание! Временами, правда, очухивался и начинал искать заносенный, с пятнами крови носок. А еще тревожился о том, куда делось орудие преступления и прочие улики. И только когда сознание его открылось, как рана, вспомнил, что тщательно обмытый топор он положил обратно в дворницкую, причем сразу же после убийства, а ценные вещи снес в один глухой двор, под камень. Но так и не рассмотрел, что именно снес. Точнее, совсем этим не интересовался. Да и денег Алёны Ивановны, лежавших в верхнем ящике комода, не тронул.

«И ограбить-то не умел, – говорили о нем впоследствии, – только и сумел, что убить! Первый шаг... первый шаг – потерялся! И не расчетом, а случаем вывернулся!»

Но вывернулся ли?

Примерно через пять до тошноты одинаковых и страшных дней после убийства, еще вдребезги расшатанный, он куда-то засобирався. Большой синий город лежал перед ним. Сеял дождь свое просо. Скучно работали фонари. Но и этого оказалось довольно, чтобы разглядеть необычного человека средних лет. О таком бы, пожалуй, сказали: «С огоньком сугубой бдительности в глазах».

– Убивец! – оскалил вдруг крупные зубы незнакомец.

– Да что вы... что... кто убийца?

– Ты убивец.

Молодой человек подался к незнакомцу, словно хотел пригвоздить на месте, но тот исчез.

«Наверное, скрылся в подворотне... Ба! Да это та самая подворотня... А вон дом и окна Алёны Ивановны... Почему же у нее горит свет?»

И тут он встрепенулся – послышался звон разбитого стекла. Бросил себя к дому, вкатился в подъезд и – наверх, перескакивая через две, а то и три ступени сразу. Дверь в квартиру была отворена настежь. Молодой человек тронул колокольчик на входе, но тот не звякнул – куда-то запропастился язычок.

Из прихожей была видна половина ночи и в ней слоистая и темная вода, просачивающаяся с самого верха. Когда поток воды забурлил, с потолка отвалился кусок штукатурки. Потом еще один. И другой... Кажется, вода была горячей, поскольку от молодого человека шел пар, но он этого не замечал. Как не замечал и муху, с налета ударившуюся об единственное уцелевшее стекло и жалобно зажужжавшую. Если что и видел он, то это лишь жиденькие пегие волосы, опускавшиеся на чье-то лицо. И хотя лица нельзя было разглядеть, но молодой человек знал, что это старушонка. Ведь встреча их была неизбежна, как встреча жертвы и палача.

«Вот бы ей... э-э... свинцовую синицу посадить в грудную клетку», – зло подумал он о старушонке.

– Как же так, Саша? – узнал он голос матери.

От неожиданности у молодого человека даже запеклась душа. Теперь он видел не Алёну Ивановну, а свою матушку. И она обращалась к нему, как когда-то в детстве. В нем заскулила слабая боль, и он выдохнул:

– Мама... Я... я не хотел. Это все тот, другой... Урод, фулярная кровь...

– Знаю.

– Мне так трудно... Я распят на собственной жизни, как на кресте.

– Из-за того, другого... Я знаю...

– Помоги мне, пожалуйста!

– Помогу, только вымой руки. Глянь, как ты испачкал...

Матушка не договорила – щеки ее тронуло робкое пламя. И вдруг она вспыхнула вся, с головы до ног, и была сожжена настоящим, заправским огнем. Почти сразу сгорел и ее сын. В последний миг своей жизни он видел лишь бессмысленно кривившийся диск в небе. И то, как это небо и этот диск разъедались страшным световым мором.

...Широкоград почувствовал боль в шее и – проснулся.

«Отлежал, наверное... Еще бы! Такой триллер посмотреть... с ядерным околеванцем в эпилоге... Впрочем, если бы так начинался какой-нибудь современный роман, то начало было бы так себе... Кого теперь удивишь убийством?.. Удивишь? Да разве этого хотел классик?»

Александр Иванович покосился на книгу, темневшую на прикроватной тумбочке, и нахмурился.

«Рассказали страшное... Дали точный адрес... старухи-процентщицы. Нет-нет, это не Достоевский сработал, а спусковой механизм проблем... Ну конечно, так и есть.

Когда вернусь в Волгоград, надо будет к матушке съездить... Как она там, на новом месте? Уживется ли с теткой? Почему ко мне не перебралась? Беда! В семьдесят девять лет в погорелицы угодить...»

Снова упал его взгляд на книгу: была она синяво-серявой, а вовсе не черной, как ему до того казалось. Он даже подивился. Взял ее и, загадав по обыкновению строку и страницу, открыл. Нацепил очки и прочел вслух: «Ну так вот, брат, чтобы лишнего не говорить, я хотел сначала здесь электрическую струю повсеместно пустить, так чтобы все предрассудки в здешней местности искоренить».

– А что, брат, по существу! – усмехнулся Александр Иванович.

Он оставил книгу на кровати, влез в халат с якоробразным вензелем гостиницы «Адмиралтейская», раздвинул жалюзи и отрыл окно.

Облака плавали по небу.

«Если по существу, то между мной и Раскольниковым, – думал Александр Иванович, – нет ни единой пылинки, которой я не отверг бы... Все эти его деления людей на разряды не допускают перемирия между мной и ним...»

– Никакого перемирия...

«Да, я книжник, как и он. И что? У него все твари дрожащие и грязная пена, а я под каждым платоновским словом о жизни подпишусь. Разве количество радости, оптимизма приблизительно не одинаково? И оно, это количество, не способно проявляться почти в любых формах?.. В самой даже жалкой форме? Разве кто-то может, хочет отложить жизнь до лучших времен? Нет, он совершает ее немедленно, в любых условиях. Конечно, нельзя согнуться всем, присмиреть. Этого-то как раз и нельзя!»

– Ах нельзя... Да слышал ли ты, непримиримый, что есть золотое правило механики? – возразят потомки Раскольникова.

«Слышал... Только я и другое слышал: не живите никогда по золотому правилу... Это безграмотно и нечестно... природа более серьезна, в ней блага нет...»

– Вот именно... – захохочут мне в лицо наши новые казуисты. – Без блага же достиг моллюск чести сделаться прародителем человечества...

«Плевать на выточенную, как бритва, казуистику... На это ваше психоложество... Я упрямо вторю Платонову... Нет выхода даже в мыслях, в гипотезах, в фантазии – после хорошего рассмотрения обязательно окажется Господь... Да что бы ни было... Слышите, казуисты? Даже выдумать что-нибудь нарочно противоположное Господу не удастся. Только из-за таких, как вы, казуистов, мы действительно, мы – весь мир, попались в страшную ловушку, в мертвый тупик. Вероятно, в истории это уже было не раз...»

Резню с потомками Раскольникова остановил телефонный звонок.

– Александр Иваныч, ты уже проснулся? – слышался в мобильнике ровный, приглушенный голос Савельева. Он всегда говорил так, вполголоса.

– Давно, Андрей Николаич, – ответил Широкоград, перенявший у бывшего своего командира манеру не здороваться, а словно продолжать не сегодня даже начатый разговор.

– Помни, встречаемся вечером у Метальникова! Посидим, выпьем. Да, вот еще что: будь поделикатнее с ним... Я не успел тебе рассказать, извини... Но полгода назад какие-то подонки убили его единственного сына. В общем, Вячеслав еще не оправился. А может, и никогда не оправится...

– Я понял, командир. Мы больше скажем немотствуя, чем если будем обсуждать происшедшее.

– Все так, Александр Иваныч, ты правильно понял... Ладно, бывай! Э-э, отставить! Ты готов к записи передачи? Завтра тебя, меня и Метальникова ждут на телевидении...

– Запишемся, Андрей Николаич.

– Ну все, бывай!

– Есть бывать!

Широкоград выключил мобильник и пошел в ванную. Быстро помылся, побрился, подправил моложавые усики. Потом достал из шкафа костюм и, почистив щеткой, надел. Синий, отменно сшитый костюм сел так, как надо. На лацкане серебрилась маленькая подводная лодка. Александр Иванович лишь перевязал бордовый галстук – не нравилась морщина на узле – и тщательно поправил воротник рубашки. Наконец закрыл номер на ключ и отправился завтракать. На лестнице ему повстречалась распялившая ярко-красный рот хозяйка гостиницы. Широкоград сухо-вато, но вежливо поздоровался с нею, не обратив, впрочем, никакого внимания на ее призывно белевшие колени. В многочисленные зеркала, развешанные по стенам гостиничного ресторана, он тоже не глянул. Собственно, он никогда не смотрел в зеркала. Не фотографировался на память и покидал троллейбус, если видел кого-нибудь похожего на себя. А еще испытывал тошноту, замечая у других свою интонацию.

Уже без семи минут девять он вышел из гостиницы «Адмиралтейская», в которой занимал люксовый номер, и не спеша направился к Дворцовому мосту. Главный военно-морской парад был назначен на десять ровно, поэтому Широкоград не торопился. Когда он миновал Генконсульство Румынии, Музей политической истории, сад и декоративные якоря, то заметил на гранитном парапете набережной свежую – еще вчера ее здесь не было – надпись:

Море уходит вспять.

Море уходит спать...

«Какой-нибудь разлюбленный курсантик поработал...» – мелькнуло у Александра Ивановича.

И вдруг, будто смотав в клубок лет эдак тридцать пять жизни, он, черноусый мичман, нестеснительно уселся в первом ряду гарнизонного Дома офицеров, между каперангами и кавторангами, чтобы насладиться выступлением Полины Душиной.

Если б кто дерзнул в ту пору сказать о ней, что, мол, «фельдшерица подходящая», то с зубами бы попрощался тотчас. Но и в последующие годы он никому бы не позволил так отзываться о Поле. Впрочем, теперь уже о Полине Ивановне Широкорад. А читала в тот далекий день со сцены Дома офицеров она Маяковского, его «Неоконченное». Вот эти самые начертанные теперь на невском граните строки...

До замужества Полина угощала иных ухажеров озорной частушкой:

*Я какая ни на есть –
Ко мне, гадина, не лезь!
Я сама себе головка,
А мужик мне не обновка!*

Саше же она признавалась в письмах, что любит «сердцем и кровью». И Широкорад тысячи раз потом перечитывал эти письма в заморье. А в редкие встречи на берегу целовал Полину и называл теплой крошкой своей. А еще говорил: «Красива собой и настолько хороша, словно ее нарочно выдумали тоскующие и грустные люди себе на радость и утешение». Нет, он не сам это сочинил, но ему очень нравилось. Когда вернулся из третьего похода, позвал девушку расписываться в ЗАГС – отказ не принимался. Ну а в 1981-м появилась Поля-маленькая, она же Полик, Полёнок, Детик.

Широкорады не могли сказать: «Приходи к нам, тетя лошадь, нашу детку покачать...» Ведь ни тети, ни других родственников в Гаджиево не было – кто в Волгограде, кто

на Смоленщине. В общем, управлялись сами. Александр Иванович научился не только яичные ромашки на сковороде подавать, но и кое-что поинтересней. А именно плов. О, что это был за плов! Даже лучший кок Северного флота Михаил Григорьевич Борейко пускал слезу от зависти. Слеза одна, на две, как говорится, не было силы. В доме же поселилось пару кошек, пару собак. Деньгов порой не хватало, а вот глупостей не водилось вовсе. Ну, разве что такая вот шутовская перемена окончаний в словах. Стоило Полине Ивановне начать, Александр Иванович уже подхватывал.

...В медленные воспоминания Широкограда проникали быстрые: «Любовь в этом мире невозможна, но она одна необходима миру. И кто-нибудь должен погибнуть... А иначе нельзя... Или любовь войдет в мир и распяет его... Или любви никто никогда не узнает...»

В Неве началось какое-то прозябание – еще не движение, а лишь слабый ток, медленное зарождение события. И наконец вызначилось: белый катер с президентским штандартом возник и полетел к десантному кораблю «Минск», малому противолодочному кораблю «Уренгой» и ракетному катеру «Дмитровград», выстроившимся в линию возле острова Заячий и Петропавловской крепости. С кораблей, возглавлявших парадное построение, то и дело несло: «Здравия желаем, товарищ Верховный главнокомандующий!» А потом приветствовали президента экипажи малых кораблей и дизельных подлодок, растянувшихся от Летнего сада до конца Английской набережной.

На большом экране Широкограду было видно, как с президентского катера бросили швартовые концы на Сенатскую пристань. Мелькнули сюртук и кителя... Президент, министр обороны и главком ВМФ поднялись по гранитным ступеням на просторную набережную и, пройдя к памятнику Петру I, заняли места на трибуне.

Грянул гимн.

А когда отторжествовал, ведущий объявил, что на Адмиралтейскую набережную выносятся развернутое полотнище кормового Георгиевского флага линейного корабля «Азов» – символ этого парада. Александр Иванович глядел на моряков, направлявшихся к западной башне Адмиралтейства. На шпиль высокой башни они и должны были поднять флаг.

– В Наваринском сражении, – говорил полным голосом ведущий, – «Азов» потопил три фрегата, один корвет, вынудил выброститься на мель и сжег восьмидесятипушечный турецкий флагман «Мухарем-бей». Наш же флагман получил сто пятьдесят три пробоины... Из них семь – ниже ватерлинии... Были снесены все мачты, стеньги и реи, прострелены паруса, перебит такелаж. Геройски проявил себя лейтенант Бутенёв: с раздробленной ядром рукой он командовал батареей, игнорируя просьбы отправиться на перевязку. «Надо было любоваться, с какой твердостью перенес он операцию, – писал впоследствии Нахимов, – и не позволил себе сделать оной ранее, нежели сделают марсовому уряднику, который прежде его был ранен...» За подвиг в Наваринском сражении командир «Азова» Лазарев получил звание контр-адмирала. Лейтенанты Нахимов и Бутенёв были удостоены высшей награды для молодых офицеров – ордена Святого Георгия четвертой степени и произведены в следующий чин капитан-лейтенанта. В следующий чин был произведен и мичман Корнилов. Он получил орден Святой Анны четвертой степени. Сам же «Азов» был отмечен высшей наградой... Указом Николая I от 17 декабря 1827 года впервые за всю историю русского флота кораблю был пожалован кормовой адмиральский Георгиевский флаг и вымпел «в честь достохвальных деяний начальников, мужества и неустрашимости офицеров и храбрости нижних чинов».

Моряки отливали шаг.

«Корнилов, – ковырнуло вдруг Широкограда, – а точнее, вице-адмирал Корнилов... Он погиб, обороняя Севастополь... Нахимов же принял потом командование... И тоже услышал злоречие пули...»

– Злое место пустым не бывает... Это уж верно подмечено...

Нева текла тихо. Александр Иванович наклонился над прошлым, как над Невой, и ничего поначалу не увидел... Но потом показалась темная спина подводной лодки... В беловатом пару октябрьского дня она вышла из базы в Гаджи-ево, чтобы следовать своей водяной дорогой... В 1985-й...

Глава вторая

– Вижу: слева семнадцать, шестьдесят пять кабельтовых – рыболовный траулер идет вправо.

– Есть, сигнальщик, – отозвался вахтенный офицер.

– Поздно заметили, сигнальщик, я наблюдаю за траулером, – сказал капитан первого ранга Савельев, сверяясь с наградным водонепроницаемым хронометром, – уже двадцать секунд... Вахтенный офицер... Леонид Ильич, вы невнимательно несете вахту. Соберитесь!

– Есть, товарищ командир! Больше не повторится.

– Что с вами такое, Воркуль? Вы изменились в последнее время... – вкрадчиво вклеил замполит Базель.

– Разрешите не отвечать на вопрос, товарищ капитан третьего ранга... К службе это никакого отношения не имеет...

Лев Львович Базель уловил некоторую небрежность к себе в нарочито вежливых словах вахтенного офицера и обиженно поджал маленькие губки.

На мостике шикнуло переговорное устройство:

– Товарищ командир, пришли в точку погружения. Штурман.

– Есть, штурман.

Савельев привычно вонзил серые глаза в сигнальщика, вахтенного офицера и замполита и скомандовал:

– Всем вниз, погружаюсь.

А по громкой связи уже неслось: «По местам стоять к погружению».

И, словно эхо, возвращалось: «В первом по местам стоят к погружению», «Во втором по местам стоят к погружению»...

Зацапанный ветром Савельев вдруг вскинулся. Ему сразу стало легко, будто сбросил с плеч тяжелую медвежью шубу. Будто не цепенел только что на мостике. Андрей Николаевич почти прошептал:

– Гениальное море... Жаль, штурман не видит... Иван Сергеич точно не удержался бы, пустил бы в ход поэзию... Как тогда в Крыму... Что-то про цветы... Ну да, про них... и небо синее... То в нос тебе магнолия, то в глаз тебе глициния...

Андрей Николаевич, посмеиваясь, задраил рубочный люк, и его сапоги застучали по трапу, уходящему вниз. Там его ждали, голосил корабельный ревун.

– Задраен верхний рубочный люк, – проговорил Савельев, войдя на ГКП, – принимаю доклады...

– Товарищ командир, принята расчетная дифферентовка.

– Есть, командир БЧ-5.

– Товарищ командир, есть сигнализация закрытия забортных отверстий, объединен запас ВВД...

– Готовимся к погружению, Илья Петрович, – приветливо кивнул старпому Савельев. – Принять главный балласт, кроме средней!

– Есть принять главный балласт, кроме средней, – повел саженными плечами Пороховщиков. Казалось, что это не старший помощник пришел в движение, а темная громада утеса, откуда-то взявшаяся здесь, на главном командном пункте.

Застонала в цистернах вода.

– Заполнить среднюю группу!

– Есть заполнить среднюю группу.

– Боцман, – обернулся к старшему мичману Ездову командир, – погружаться на семьдесят метров с дифферентом пять градусов на нос...

– Есть погружаться на семьдесят метров с дифферентом пять градусов на нос! – Василий Фёдорович Ездов покосился на рулевого-сигнальщика Аксюту, сидящего рядом с ним, и двинул ручки управления.

– Малый вперед.

– Есть малый вперед.

Звякнул машинный телеграф, и подводная лодка вздрогнула всем своим телом.

– ГКП.

– Есть ГКП, – качнулся командир.

– Гидроакустический горизонт чист. Акустик.

– Есть, акустик.

Савельев остановился возле штурманской рубки.

– Штурман, место?

– Находимся в заданном районе.

– Товарищ командир, – крикнул Ездов, – глубина – семьдесят метров... Курс – тридцать градусов, скорость – пять узлов, крен – ноль, дифферент – ноль...

– Есть, боцман... Средний вперед.

Андрей Николаевич Савельев нажал тумблер громкой связи:

– Слушать в отсеках, говорит командир... Перед нами поставлена задача – занять в Саргассовом море район боевого патрулирования. Напоминаю, наша основная задача, как и всех стратегических ядерных сил Советского Союза, – по сигналу органов военного управления нанести неприемлемый ущерб противнику в случае развязывания агрессии против нашей Родины... Помните, товарищи краснозвездцы, мы всегда должны быть готовы разбить «мастеров того света»!

Громкоговоритель похрипел и затих.

Через семь минут и двадцать секунд акустик доложил на ГКП:

– Слышу шум винтов отряда надводных кораблей в секторе пеленга тринадцать тридцать градусов.

– Есть, акустик, – сказал Савельев. – Классифицируйте цели.

– Тральщики, товарищ командир.

– Хорошо, Юрий Василич. Как меняется пеленг?

– Быстро на нос.

Савельев склонился над штурманской картой.

– Штурман, каков характер маневрирования кораблей?

– Лежат на курсе сближения, товарищ командир.

– Так, боцман, замри!

– Понял!

– ГКП.

– Докладывайте, Юрий Василич!

– Тральщики быстро уходят, контакт теряем, – начал доклад старшина команды гидроакустиков Кормилицин. – Дистанция – сорок кабельтовых. Все, контакт потерян.

– Слушать сектор слева сорок пять и справа сорок пять...

– Есть, товарищ командир!

Савельев opravил аспидно-голубую «эрбэшку» и подмигнул замполиту со старшим помощником:

– Товарищи офицеры, делá, как говорится, много – только поспевать... Лев Львович, обойдите отсеки, напомните личному составу об особой бдительности несения вахт...

– Сделаю, Андрей Николаич! – приосанился Базель.

– Илья Петрович, а вы объявляйте учебную тревогу в четвертом отсеке и далее по плану.

– Есть!.. Принято, товарищ командир... – Пороховщиков потянулся к документации.

Пока маленькая сгорбленная фигурка замполита выскальзывала с ГКП, а Пороховщиков вносил запись в жур-

нал, Андрей Николаевич еще раз оглядел подчиненных: боцмана Ездова с рулевым-сигнальщиком Аксютой, командира БЧ-5 – механика Метальникова, командира дивизиона живучести Ромашкова и инженера дивизиона живучести Добрушина, начальника секретного делопроизводства – «секретчика» Замкова, помощника командира Покорского, штурмана Первоиванушкина, командира БЧ-2 Мороза, а также отвечающих за радиотехнику – начальника РТС Палехина и инженера вычислительной группы Нагайцева.

Но вот старпом отложил документацию и, включив громкую связь, прохрипел:

– Учебная тревога! Взрыв в ракетной шахте номер два.

И тотчас заработал корабельный ревун.

В соседнем с ГКП четвертом отсеке все сорвались с мест. Стало жарко. Приказы командира группы старта ракетной боевой части Леонида Ильича Воркуля метались как искры в печи:

– Загерметизировать четвертый отсек, открыть пост замера газа... Приготовить броневые заглушки...

– Задраен люк ракетной шахты, – едва не срывался на крик разбитной матрос Игнатов.

– Есть, двадцатый.

– Приготовлены броневые заглушки, – четко выговаривал слова вечно невозмутимый матрос Братченко.

– Есть, сто десятый...

После того как Пороховщиков принял доклад Воркуля и отметил хорошую выучку ракетчиков, снова наступил черед ревуна. Была объявлена учебная тревога во втором отсеке, куда якобы «поступил воздух высокого давления», и в десятом, где «образовалась течь». Когда старпом закончил песочить не уложившуюся в норматив вахту десятого отсека, на ГКП вернулся Базель. Маленькие губки его были по обыкновению поджаты, рыжие волосики – опроборены.

– Товарищ командир, ваше приказание выполнено... Все отсеки мною самолично обойдены.

– Спасибо, Лев Львович!

– А это, значит, рапортик.

– А что там?

– Прочитайте, Андрей Николаич... Я все подробно изложил.

Савельев пробежал глазами по бисерным замполитовским строчкам и нахмурился.

– Товарищ капитан третьего ранга, вы предлагаете в приказе по лодке объявить командиру группы старта ракетной боевой части Воркулю выговор?... Как я понимаю, за невнимательное несение утренней вахты на мостике... Верно?

– Так точно.

– Ну что ж, рапортик, как вы изволите выразаться, я приму, но хода не дам.

– Не постигаю, Андрей Николаич?

Савельев взял Базеля под маленький локоток, посмотрел в постные глазки и прибавил:

– Скажите, благодаря кому месяц назад наш ракетно-носец получил приз главкома? Благодаря кому отличился на стрельбах?

– Э-э, Воркулю...

– Ну вот и не талмудьте голову...

– Командир... Вы... вы всегда всех защищаете...

– Такая профессия, Лев Львович... Ничего не поделаешь.

– Разрешите идти?

– Идите... Готовьтесь к политзанятиям...

Базель согнулся еще больше обычного и, пунцовый, выскочил с ГКП. Савельев заметил понимающий взгляд старпома и вымученно улыбнулся.

«Нашла коза на камень, – кольнуло Андрея Николаевича. – Не зря мичман Широкоград прозвал замполита Великим инквизитором... Если ненавидит, то уже со всего разгона...»

Глава третья

В распахнутую дверь командирской каюты заглянул начальник медицинской службы капитан Радонов.

– Разрешите?

– Прошу, Вадим Сергеич, проходите, присаживайтесь... – Савельев отложил карту, с которой работал, и кивнул Радонову на кресло. – Вы насчет Эйбоженко? Я обдумал ваше предложение. В целом оно здоровое: у шифровальщика действительно не так много дел в походе. Поэтому разрешаю задействовать его по медицинской части.

– Благодарю, Андрей Николаич! Но вообще-то я хотел переговорить о матросе Братченко.

– Да-да, я помню... Вчера вы докладывали, что обнаружили у него тревожные симптомы...

Радонов поудобнее уселся в кресле, вытянул длинные ноги.

– Все так... Слабость, тошнота, повышенная температура и боли в правой подвздошной области. Это не что иное, как острый аппендицит, – подытожил Радонов.

– Вадим Сергеич, что вы намерены предпринять?

– Консервативная тактика успеха не имела. Покой, голод и антибиотики не помогли. Температура поднялась еще выше. А значит, нужно срочно оперировать.

– Все-таки операция... – сказал Савельев, помрачнев. – Как некстати...

– Командир, будьте покойны... В клинике кафедры военно-морской хирургии я оперировал больных раком... Сейчас же требуется всего лишь вырезать воспаленный аппендикс.

– Хорошо, Вадим Сергеич, как будете готовы, приступайте! Да, и вот еще что... Свет в амбулатории не погаснет ни при каких обстоятельствах... Никакое оборудование не выключится... Все будет крутиться и вертеться, – скрепил Савельев и потянулся к тумблеру громкой связи.

... Не раз и не пять командир взвесил доводы за и против возвращения в Гаджиево. Выходило, что К-799 ну никак не сподобится пришвартоваться к родному пирсу раньше, чем следующим утром, и самое верное – это оказать всю необходимую помощь матросу Братченко здесь, в море. Сейчас, немедля... В своем, как всегда, прямом и развернутом в плечах докторе Андрей Николаевич нисколько не сомневался: он-то уж точно «всех излечит, исцелит». Впрочем, вселял уверенность и очень обязательный старшина электротехнической команды Широкоград: коли отрезал Александр Иванович, что лампочки в операционной посветят, значит, так и будет. Что еще? Цельный и твердый, что называется, утесистый старпом Пороховщиков взял сторону командира. Базель же, Базель, имевший свойство почти не иметь свойств, – не в счет.

«Ну тиснет замполит по обыкновению наверх рапорток, да и черт с ним... Не родился еще богатырь такой, чтобы меня обыграть», – решил Савельев.

Вскоре командира вызвали на ГКП, Широкоград стал фокусничать с электричеством, а Радонов взялся наконец за скальпель.

Когда операция уже благополучно завершилась, Вадим Сергеевич Радонов бодро пропел:

*Фридрих Великий,
подводная лодка,
пуля дум-дум,
цеппелин...
Унтер-ден-Линден,
пружинной походкой
полк
оставляет
Берлин...*

– Ну что, товарищ капитан? – прокряхтел, оглядывая свой живот с белой марлевой повязкой, матрос Братченко.

– Что, что... Я же говорил: лучше сдайся мне живьем...

– Так я и сдался.

– Значит, жить будешь... Ясно?

– Ясно.

– Денис, ведь сдрейфил, а? Тетка твоя подкурятина...

– Да как же не сдрейфить-то... Один только вид вашего хирургического инструмента...

– Инструмента?.. А скажи: ты песню Высоцкого слышал? Ну в ней еще такие слова... Пока вы здесь в ванночке с кафелем... э-э... моетесь, нежитесь, греетесь... В холоде сам себе скальпелем он вырезает аппендикс...

– Про клоунов знаю, но эту нет, не припомню даже... А отчего вы интересуетесь?

– Видишь ли, Денис, я ведь коллекционер.

Радонов поймал удивленный матросский взгляд.

– Да-да, коллекционер... Но не в том смысле, что я гоняюсь за какими-то древними черепками... артефактами... Понимаешь?

– Не совсем, Вадим Сергеич.

– Гистории, своеобразные, конечно... В своем, так сказать, роде... Вот, что я собираю.

Неожиданно доктор зазвенел молодым рассыпающимся смехом.

– Ну и физиономия у тебя, матрос! Раскрывает рыба рот, а не слышно, что поет.

Братченко виновато улыбнулся.

– А впрочем, не забивай голову... Лучше прелюбопытную историю послушай...

Вадим Сергеевич закрыл кран и понес перед собой мокрые большие руки. Потом тщательно обтер их полотенцем и, присев на кушетку, начал свою повесть:

– Так, но с чего же начать, какими словами? А все равно, начну словами: там, на станции Новолазаревская, в кипящем котле Арктики... Почему, скажешь, в кипящем? Ну а как я, Денис, эту необычную, гадательную и неопределенную Арктику тебе опишу?.. Год?.. Год тысяча девятьсот шестьдесят первый... И если не изменяет мне память, то двадцатые числа февраля. Холодина! Такая холодина, что из себя самого можно выскочить. И даже на пресловутые ребра не опираться... Короче, погода ощерилась! Авиацию не поднять... А до земли обетованной, «откуда доходят облака и газеты», – восемьдесят километров... И вот тут по гадскому стечению обстоятельств птенец человеческий оказался на краю гибели. Тьфу! Прости, Денис, съехал на штампы... Э-э, ну так вот... Врач этой полярной станции, Леонид Рогозов, заметь, единственный тамошний врач, сам поставил себе диагноз: острый аппендицит. В общем, все как у тебя. Почти все. Разница лишь в том, что тебя спасал я, а Рогозова – Рогозов. Нет, конечно, ему помогали метеоролог Артемьев, подававший инструменты, и инженер-механик Теплинский, державший у живота небольшое круглое зеркало и направлявший свет от настольной лампы. Начальник станции Гербович дежурил на случай, если кто-то из «ассистентов» грохнется в обморок. А что же Рогозов? А Рогозов, лежа с полунаклоном на левый бок, вкатил себе раствор новокаина и аккуратно так сделал скальпелем двенадцатисантиметровый разрез в правой подвздошной области. Временами всматриваясь в зеркало, а временами и на ощупь, без перчаток, действовал он... Следишь, Денис? Ага, вижу, что следишь. Хорошо, сейчас посыплются еще и цифры... Итак, через тридцать-сорок минут от начала операции развилась выраженная общая слабость, появилось головокружение. Еще бы! Ведь добраться до аппендикса было непросто – Рогозов наносил себе все больше ран и не замечал их. Сердце начи-

нало сбоить. Каждые четыре-пять минут он останавливался на двадцать-двадцать пять секунд... В какой-то момент Леонид Иванович даже пал духом. Скапустился... Но затем осознал, что вообще-то уже спасен! Да, именно так. Операция, длившаяся час и сорок пять минут, отколотилась. Дней через пять примерно температура нормализовалась, а еще дня через два были сняты швы.

– Вадим Сергеич, значит, это о нем, о Рогозове, Высоцкий ту песню пел...

– Конечно, о нем, не о тебе же. И это ему, а не тебе вручат впоследствии орден Трудового Красного Знамени. А впрочем, и ты, Денис, большой молодец... Хвалю!

– Спасибо! Но если бы не вы, товарищ капитан...

– Да ладно тебе... Служи Советскому Союзу!

...Умыв, что называется, руки, Радонов отправился в курилку. Дорогой он доложил командире и, приобретя его благодарность, пребывал в прекраснородном настроении – выстукивал об портсигар какой-то уж очень воинственный марш. Таким его и увидели штурман Первоиванушкин и мичман Широкоград. Оба уже разминали в пальцах туго набитые пайковые индийские сигареты.

– Что, братцы, воскурим фимиам? – чуть ли не пропел Радонов.

Штурман Первоиванушкин улыбнулся и чиркнул зажигалкой, давая каждому из товарищей прикурить.

– Какая, однако, у тебя, Иван Сергеич, горелка... Небось серебряная?

– Да, тонкая штучка... Не удержался, купил... Чуть ли не всю получку укокошил.

– Слышишь, Александр Иваныч? Во сибарит дает! Ему бы ожениться, тогда бы знал, на что получки укокошивать...

– А сам-то когда такому совету последуешь? – сказал, выделявая дымные кольца, Широкоград. – Ване-то – двадцать

пять, лицо еще пушится, а тебе через две недели... Сколько? Тридцать, тридцать лет!

– Молодость, брат, как известно, к нам уже вернуться не может... Разве что детство...

– Да черт с ней, с молодостью! Ну вот что ты брякнул недавно на танцах Вале Верёвкиной? «Мадам, отодвиньтесь немножко! Подвиньте ваш грузный баркас... Вы задом заставили солнце, – а солнце прекраснее вас...»

– Я – любавец! Я – красавец! А она, она перед моим носом изнемогала в невозможно восточной позе. А впрочем, Сань, ты прав... И мне надо бы осупружиться, а? Променять, как писал твой любимый Платонов, весь шум жизни на шепот одного человека...

– Да ну тебя... Я серьезно, а ты...

– Сань, да я тоже серьезно... Поверь!.. Просто смарагдовое будущее не вытанцовывается...

Радонов незаметно и как-то лукаво подмигнул Первоиванушкину.

– Найти бы единственную мою письмовладелицу... Таковую, например, как твоя Полина, и сразу того...

– Чего «того»? – вскинулся Широкоград.

– Под венец! Исцелять раны цветами...

– Иван Сергеич, поговори с этим паяцем сам, – закашлялся мичман. – А мне пора, надо идти...

– Иди, иди, Карамазов... Дуй до горы!.. А я еще помозгую насчет Великого инквизитора... Базеля... Совсем распоясался, даже на командира вон бочку катит...

– Ну, мозгуй, Вадим Сергеич, – парировал Широкоград, – только потом не забудь рассказать, что намозговал! Как подсказывает опыт, лучше знать о твоих экспромтах заранее...

Он собрался уж было выйти из курилки, но тут его вдруг окликнул доктор:

– Не серчай, Александр Иванович... Сань... Ну вот хочешь, поклонюсь тебе в пояс... Ты ж просто спас этого матросика

Братченко... Светил всегда, светил везде... Ничего у меня в операционной даже не гакнулось. Нет, я серьезно, брат!

– Все, товарищи офицеры... Адью!

– Давай, Сань, пока! – кивнул Первоиванушкин и зачем-то с каким-то даже шиком чиркнул зажигалкой.

Подводники помолчали, пуская дым.

– Он ушел, но обещал вернуться... – снова оживился Радонов. – Нет, ну Саня, он ведь как Болконский...

– В смысле?

– А в том смысле, брат Иван, что и он может знамя поднять... Обожди-обожди, в свой час обязательно подымет...

– Постой, а что ты хотел о Базеле сказать?

– Что, что... Может, на дуэль его вызвать? Вызовешь, Вань? Или на седины старика не подымеется рука?

– Вот ты юродивый!

– А может, его за бороденку, за мочалку – да и вытащить с нашей подлодки... Как Митя Карамазов отставного штабс-капитана Снегирёва из трактира вытащил, а?

– Во-первых, Базель не отставной штабс-капитан...

– И во-вторых, – подхватил Радонов, – без мочалки... Ухватить не за что...

– Нет, ну юродивый... Кто тебя только до больных допустил?

– Насчет юродивого, брат, ты крепко ошибаешься... Во мне растут цветы подводные... И жизнь цветет без всякого названия...

Радонов помолчал, покусывая губы, потом сказал:

– Пойду-ка я проведу моего единственного больного. Жаль, конечно, Вань, что это не ты... Я б тебя так проведаль...

– Добрый ты, Вадим!

– Добрый... И ты добрый. Все, все добрые...

– И Базель?

– Базель? Нет, он не добрый, а святой... Сердце его большое похоже на колокольню...

Глава четвертая

Года два назад, только сойдясь с Широкоградом и Первоиванушкиным, Вадим Сергеевич Радонов провозгласил, что «отныне этот благословенный день будет именовать не иначе как главой “Братья знакомятся”». И, поразмыслив, добавил: «Как в романе у Достоевского...»

Себя он аттестовал «постромантиком Митенькой Карамазовым», Широкограда – «идеологом Иваном», Первоиванушкина же – «Алёшей, Божьим человеком». Конечно, аттестация эта была сущей условностью, литературной игрой, которую так любил доктор. Впрочем, суть Радонов уловил верно: из всех романских братьев сам он более всего походил на старшего брата Митю; Широкоград, хотя ничем себя особенным до той поры еще не проявивший, а лишь, по общему мнению, приготовлявшийся, был Иваном; младший же из них – Первоиванушкин – так тот и впрямь оказался Алёшей, но только не в Бога верующим, а в науку. А точнее, в астрофизику. И потому, естественно, имеющим право за страстным исследователем Птолемеем повторять: «Что я смертен, я знаю, и что дни мои сочтены, но когда я в мыслях неустанно и жадно выслеживаю орбиты созвездий, тогда я больше не касаюсь ногами Земли: за столом Зевса наслаждаюсь амброзией, пищей богов».

Словом, такие, как они, просто не могли не сойтись близко. Радонов чаще к месту, чем нет, подсыпал архаизмы: «коли», «предуведомляю», «будьте покойны», «ибо», «поди» и прочие, а еще – цитаты из «дорогих сердцу фолиантов». Широкоград, также зачитывавшийся классикой, давал глубокий анализ событий и процессов, формулировал смелые теории. Первоиванушкин же, не числивший себя лириком, тем не менее до тонкости разбирался в поэзии Владимира Маяковского. В общем, что ни говори, а эту тро-

ицу сближала именно литература. Каждый был книгочеем, пусть и в своем роде.

«Предупеждаю, – сразу же заявил названным братьям Радонов, – я из Челябинска, там родился, там крестился... И, знаете, наследую семейную легенду о далеком деде Василии Григорьевиче Жуковском, штаб-лекаре. О том самом Василии Григорьевиче, что в 1787 году все-таки выходил своего старшего товарища Андреевского, привившего себе эксперимента ради сибирскую язву. Смертельное заболевание... Так вот, совместная работа с Андреевским предопределила всю дальнейшую жизнь моего пращура. Он не вернулся в золотожарный Санкт-Петербург, а остался врачом в захолустном Челябинске и, чтобы одолеть сибирскую язву, даже сочинил труд, получивший высокую оценку медицинской коллегии Сената. Кстати, один из сыновей Василия Григорьевича, Иван, был челябинским городничим. Это же так литературно! Городничий... Обожаю, обожаю...»

С «главы», когда «братья знакомятся», объявилось и пристрастие Радонова к собиранию и рассказыванию странных историй (опять же его излюбленное словцо). «Знавал я одного старика, – делился с Широкоградом и Первоиванушкиным Вадим Сергеевич. – М-да, старик-то был необычайный... Навроде зелейника... Умел исцелять овец, у которых в ушах завелись черви. Делал он это, даже не касаясь животных. Вскочит на холмик или возвышение какое, пошепчет молитвочку, и черви того – уж сыплются мертвыми. Уши у овец, стало быть, очищаются. Я это наверное знаю, наверное... Если бы не видел этого сам, то не говорил бы...»

Растолковал Радонов им все и о Базеле: «Ну какой он Великий инквизитор? Скорее, прелюбодей мысли Ракитин... Ракитка... Он мне нашего новоиспеченного генсека Горбачёва напоминает... Одну мыслишку разминает на все лады да по несколько часов – причем мыслишку элементарную...» После такого выпада и Широкоград, и Перво-

иванушкин, всерьез опасаясь за Вадима, взяли с того клятву, что он про Михаила Сергеевича Горбачёва никогда нигде ничего подобного не ляпнет. И хотя Вадим себя сдерживал, но друзья стали его на всякий случай опекать.

Впрочем, кое-чему и они были бессильны способствовать. Речь, конечно, об отношениях с девушками. Да, Радонов – этот высокий, статный обладатель ясных черных глаз и гордого римского профиля – мог бы нравиться. Только вот даже любящая доктора Валя Верёвкина и та пасовала порою пред этим циником, охальником и «злоречивником, злым, злым».

Иван Сергеевич Первоиванушкин, напротив, был истинным любимцем гаджиевских девиц. Все они отчего-то полагали, что «этот златокудрый и сребролукий Феб» со дня на день выберет лучшую из них (каждая думала, что именно ее) и поведет под венец. Но он все не выбирал, оставаясь обходительным с каждой и позволяя восхищаться собой. Было в этом что-то мальчишеское, право. Но если вникнуть, то он и был, в сущности, мальчишка: «Ой, хорошенький какой лейтенант...»

Более других первокрасавиц поселка на него заглядывалась Илона Итальянцева. Сотрудницы метеорологической службы, где работала эта гордая и своенравная барышня, знали, что «Илонка сохнет по Ивану Сергеичу». И само собой, корили его за слоновье бесчувствие. Мужчины же метеорологи, руководимые своим начальником – дряхленьким, пенсионно-неловким Сокольским, – чертовски завидовали молодому штурману. А Первоиванушкин, как он сам однажды признался Широколаду и Радонову, «выдерживал характер и томил ее, чтобы, значит, любила без истерик». На что Вадим Радонов ему тогда же прочел целый трактат насчет женской истерики, которую, как известно, Бог женщине послал любя. Да еще из Платонова навертел: «Мне бабка говорила... у каждого есть ангел-хра-

нитель. А внук ее открыл, что этот ангел – зверь, сознание из костного мозга».

И все-таки объяснение у Первоиванушкина однажды выкарабкалось. Они мерзли с Илоной на старом пирсе, под тусклым фонарем, и Ивана вдруг прорвало:

*Лед за пристанью за ближней,
оковала Волга рот,
это красный,
это Нижний,
это зимний Новгород...*

– Ты о чем?

– Да так... Новгород мой вспомнился... Будешь меня любить, Илон?

– Буду, – не колеблясь ответила она.

Он прижал ее к себе, послушную, как снасть.

– И вовсе не зябко, правда? – спросила Илона, всматриваясь в его голубые и веселые глаза.

– Правда... Я тоже буду любить тебя, – твердо сказал он.

Ни Широкоград, ни Радонов поначалу не постигали того, что с их другом стряслось: таким расхристанным, как в тот вечер, они его никогда прежде не видели. И потому с тревогой вопрошали: «Что, Вань? Что? Где болит?»

– Весело бить вас, медведи почтенные, – улыбался Первоиванушкин и стряхивал снег с фуражки.

– Нет, ты объясни! – ярился Радонов.

– Что тебе, Вадик, объяснить? Люблю я, понял?

– Ха, любит! Любишь? Илону? Ну ты краб черноморский... А я-то не возьму в толк, что же ты фуражку в такой хлад напялил... Да еще и неуставную...

– А Илонка?

– Все взаимно, Саш, – радостно отвечал другу Иван Сергеевич.

– Надеюсь, – скрипел доктор, – хоть о глазах ее промолчишь... Круглые да карие, горячие до гари...

– Промолчу, Вадик, промолчу, милый.

– Промычу, – не унимался Радонов.

– А знаешь, от избытка чувств так и сделаю...

И Первоиванушкин не соврал. А тут междометие подняли еще и друзья. Вскоре мычали уже вместе – радовались по-братски.

Так у этих троих и завелось с самого начала, что после целодневной работы они собирались вместе и говорили обо всем без утайки: «обретали одно из высших человеческих достояний – никогда и ни в чем не лгать».

Голос Радонова рокотал, как орган.

И Широкограду с Первоиванушкиным приходилось, что называется, регулировать громкость. Особенно когда «в повестке заседания значились очередные решения партии и правительства». В такие мгновения Вадим был страшен. Это словно его изобразил талантливый современник: «Тяжелый взгляд римского легионера, марширующего в первых шеренгах несгибаемого легиона. Доспехи, белый, отороченный мехом италийского пурпурного волка плащ. Шлем окроплен вечерней росой, медные и золотые застежки там и здесь – затуманены, но лучи бивуачных костров, пылающих по сторонам Аппиевой дороги, все же заставляют сверкать и латы, и шлем, и застежки».

...В каюте Широкограда рокотало, гремело «латами и шлемами».

Радонов по обыкновению двигал на столике у Александра Ивановича портреты его жены и трехлетней дочки в дубовых рамках и говорил:

– Вникни, Сань! Я тут недавно предложил Ивану вызвать Базеля на дуэль... Или на худой конец вытащить с нашей подлодки за бороденку, за мочалку... Как мой кумир Митя

Карамазов вытащил из трактира отставного штабс-капитана Снегирёва...

– И что с дуэлью? – Широкоград покосился на Первоиванушкина. – Перчатка, надеюсь, брошена?

– Разумеется, нет, – взвился доктор. – Ведь наш Ваня жалостлив очень. А ты, Александр Иванович, пожалел бы?

– Кого? Базеля? Снегирёва?

– Разницы нет.

В серых глазах Широкограда вдруг словно сверкнули лучи тех самых бивуачных костров, что пылают по сторонам Аппиевой дороги.

– Ты не прав, Вадим, разница – колоссальная... Могу доказать... Да... Еще до срочной службы я, ну, примерно с год работал на Волгоградском судостроительном заводе... Это все батя, старожил нашей судоверфи, меня, совсем еще зеленого, к делу пришил. Так вот, трудился там с нами некто Прокофьев Василий Егорович... Что за человек? Да двойник того самого штабс-капитана Снегирёва. Шут, паяц? Ах нет, – скажу близко к известному тексту, – есть люди глубоко чувствующие, но как-то придавленные. Шутство у них вроде злобной иронии на тех, которым в глаза они не смеют сказать правды от долговременной унижительной робости пред ними. Поверь, Вадим, что такое шутство чрезвычайно иногда трагично... В Базеле же, как ты понимаешь, трагического кот наплакал.

– Ну хорошо, хорошо, Александр Иванович, убедил... А дальше что? Как замполита будем приструнивать?

– Пока не знаю, – пожал плечами Широкоград.

– Я тоже, – протянул Первоиванушкин.

– Зато я знаю... – приосанился Радонов. – Надо всего лишь заделаться комаром... Я поясню, поясню... Как и ты, Сань, с помощью известного текста... Э-э, размышляя над возможностью возродиться в обличье комара, скажу, что я, пожалуй, не против снова прийти в этот мир в какой-ни-

будь бамбуковой кадке для цветов или в мидзутамэ. Тихо выпорхну оттуда, напевая звенящую воинственную песню, и отправлюсь полакомиться кровашкой нашего общего знакомого Базеля...

Возможно, Вадим Сергеевич мог бы поделиться и более экзотическим способом приструнивания замполита, но Широкоград с Первоиванушкиным вдруг порвались от смеха. Однако, не отведя душу как следует, им пришлось веселье свое сократить – заработал корабельный ревун.

Глава пятая

Корабельный ревун разболелся вовсе из-за объявленной старпомом Ильёй Петровичем Пороховщиковым учебной тревоги.

Пока К-799 проскальзывала через линию натовских корабельных дозоров и воздушных патрулей между самым северным мысом Европы Нордкап и норвежским островом Медвежий, пока скрытно форсировала Фареро-Исландский рубеж с пасущимся там британским флотом и выходила к просторам Атлантики, старший помощник учебных тревог не объявлял, таился, соблюдал, как он выражался, режим тишины. Но стоило корабельным лагам отсчитать мили и моря – Баренцево, Норвежское, – и Илья Петрович тотчас учинил аврал. Моряки, возможно, и чертыхались, но отработывали вводные о пожаре, о поступлении в отсеки воды или воздуха высокого давления. Помнили, что это крайний поход Пороховщикова в должности старпома и что, вернувшись в Гаджиево, он примет командование таким же ракетоносцем. Наберет не менее лихой экипаж и двинет в Саргассы. И уже самолично станет отвечать за судьбы ста с лишним душ.

Об Илье Петровиче тоже можно было бы сказать: «...на-и-бла-га-а-ар-р-роднейший человек, но порох, порох! Вспы-

лил, вскипел, сгорел – и нет! И все прошло! И в результате одно только золото сердца!» Именно поэтому Савельев так ценил своего старпома и жалел, что придется расстаться с ним. Впрочем, понимал: Илья Петрович уже перерос свою должность и будет хорошим командиром. Будет, по возможности конечно, в День командира подводной лодки – 25 ноября – поднимать рюмку «за тех, кто в отсеках» и щелкать ногтем сначала по хрустальному краю, а затем по доньшкы, чтоб на одно погружение приходилось и одно всплытие.

Савельев временами задумывался о сути командирской работы и мысленно не соглашался с теми, кто усматривал в ней исключительно правомочия скреплять своей подписью свидетельство о браке или о смерти; обязанность покидать последним тонущую подлодку; быть ратоборцем, мореходом, инженером, физиком-ядерщиком, гидрологом, астрономом; знать тайнопись шифротелеграмм; держать в голове сотни директив, приказов, наставлений, инструкций, морских лоций, международных правил; помнить флаги свода сигналов, тактико-технические характеристики неприятельских кораблей и пункты суточного плана. Капитан первого ранга Савельев искренне полагал, что прежде всего он должен ощутить человека. Познать его подлинные глубины. Но при этом Андрей Николаевич опасался, что любая высказанная им мысль о человеке окажется неправдой. Недаром же Тютчев считал, что «мысль изреченная есть ложь».

Как-то раз, незадолго до этого похода, в учебном центре в эстонском Палдиски командир попросил Широкограда зайти к нему. В комнате не включался свет, и Андрею Николаевичу требовалась помощь. Когда все уже было починено и Широкоград смог оглядеться, то он вдруг словно очутился в мастерской художника – в центре темнел этюдник, стол был завален эскизами, рисунками, панно. И на них – моряки, выписанные углем. А какое богатство тонов: от воздушного серого до глубочайшего черного!

– Товарищ командир, – проговорил, растягивая слова, Широкоград, – а пейзажи вы совсем не рисуете? Ну, маслом. Или чем-то еще.

– Александр Иванович, давайте-ка для начала условимся: никто в экипаже не должен знать, что вы тут видели. Идет?

– Идет, – тронул пушистый ус мичман.

– Вот и ладно... Что же касается пейзажей, так еще Микеланджело заметил, что их как забаву, как мелкое вознаграждение следует предоставить меньшим талантам... Истинный же предмет искусства... Человек, че-ло-век... Если интересуетесь, могу дать почитать презанятный «Дневник Микеланджело Неистового». Это труд большого знатока искусства эпохи Возрождения, итальянского писателя и литературного критика Роландо Кристофанелли. Подана история в форме дневника, который ведет герой, то есть сам Микеланджело. И я вам так скажу: используя обширный документальный материал, в том числе заметки, счета, письма художника, а также многочисленные факты, накопленные его биографами, автор не стремится мистифицировать читателя, не пытается выдать написанное за «подлинный» дневник художника.

– Признаюсь, Андрей Николаич, – взял книгу Широкоград, – сразили вы меня... Такие вавилоны!.. И мастерская, и портреты, и Микеланджело.

– А вы, Александр Иванович, думали, что Фаталист – так вы, кажется, меня все зовете – ничем, кроме боевых служб, больше не живет?

– Нет, товарищ командир, не думал... А вот Фаталистом... э-э, действительно зовем... Понимаете, Радонов как-то случайно узнал, что ракетчики очень уж хотели обыграть вас в домино, а вы...

– Ну, договаривайте, договаривайте... Не дал им шанса... Но разве мог я с ними играть, если все костяшки насквозь вижу? Я ведь тогда сразу на первую попавшуюся

костяшку Воркулю указал, мол, это: шесть-шесть. Лёня даже подскочил, чтобы проверить...

Тихий гул перекатывался за окном. Савельев прислушался, потер от удовольствия ладони одна о другую и по-мальчишески озорно рассмеялся:

– Радонова амброзией не пои, дай только историю позаквыристей!

– Тогда уж историю, – уточнил Широкоград.

– А я о чем?..

Отколотится двадцать три года четыре месяца и два дня с разговора о Микеланджело, и Александр Иванович, прилетев по делам в Италию, увидит воочию то, о чем лишь читал в савельевской книге. Он увидит и Пьету в соборе Святого Петра, и «Святое семейство» в Уффици, и Давида в Академии, и Сивиллу Дельфийскую в Сикстинской капелле, и «Снятие с креста» в музее при соборе Санта-Мария-дель-Фьоре. Вспомнит сказанные однажды Микеланджело слова: «О, скольких еще мое искусство сделает глупцами!» Отправляясь затем в Венецию, Широкоград горько усмехнется: «Рождает жажда жажду – я же стражду».

Дорогой он перечитает новеллу «Смерть в Венеции». И слова Томаса Манна зазвучат в нем, когда Венеция откроется: «Итак, он опять видит это чудо, этот из моря встающий город, ослепительную вязь фантастических строений, которую Республика воздвигла на удивление приближающимся мореходам, воздушное великолепие дворца и мост Вздохов, колонну со львом и святого Марка на берегу, далеко вперед выступающее пышное крыло сказочного храма и гигантские часы в проеме моста над каналом... Это была Венеция, льстивая и подозрительная красавица, – не то сказка, не то капкан для чужеземцев; в гнилостном воздухе ее некогда разнузданно и буйно расцвело искусство... Венеция больна и корыстно скрывает свою болезнь...»

Тогда, во время первой прогулки по городу, проходя вдоль Канале Гранде, по мостам, по площади Сан-Марко, там, где когда-то проходил и Достоевский, Александр Иванович осознает наконец, что же все-таки для его бывшего командира значило: ощутить человека.

Ожила корабельная связь:

– Слушать в отсеках, говорит командир... Товарищи краснозвездцы, Фареро-Исландский рубеж форсирован. Благодарю за службу! Итак, мы вышли на просторы Атлантики. Но впереди еще главный противолодочный рубеж вероятного противника... И поэтому задача прежняя: не позволить кому-либо превратить нашу страну «в одинокую пустыню с последним плачущим человеком...»

В громкоговорителе как будто что-то дзинькнуло, звякнуло, и экипаж тотчас узнал хриловатый голос Пороховщикова: «Всех свободных от несения вахт прошу собраться в кают-компанию... Праздничный обед по случаю дня рождения командира начнется через семнадцать минут...»

Глава шестая

Народ беспрестанно умножался в кают-компанию, по мере того как отведенное старпомом время истекало.

– Большие сообщества людей, – хмыкнул Радонов, – и впрямь существа неменяемые... Ну как тут не согласиться с этой перечницей Вулф?

– Вадик, ты и без Вулф очень субъективен.

– Субъективен, говоришь... А не кажется ли тебе, брат Иван, что это лишь иллюзия моего лирического характера?

– С тобой и не такое покажется... – вздохнул Первоиванушкин. – Слушай, давно хотел спросить... О чем ты вообще мечтаешь?

– Вообще? Да о трости, конечно. С львиной мордой. И чтоб эта трость находила клады, ибо там, где зарыто золото, она бы стучала оземь трижды, а где серебро – дважды... Что, купился? О Перу я мечтаю, о Перу... Знаешь, всегда хотел познакомиться с жизнью индейцев кечуа и аймара, заглушающих голод листьями коки. По легенде, это бог Солнца велел им: «Доверьтесь коке, она прокормит и исцелит вас, даст вам силы выжить». И еще грозный индейский бог предрек: «Белых настигнет страшная кара за их злодеяния и преступления. Однажды они осознают магическую силу коки, но не будут знать, как ею воспользоваться. Кока превратит их в скотов и безумцев». Карамба! Я сбился... Ах да, неделю-другую я, пожалуй, провел бы на развалинах древнего города инков Мачу-Пикчу... Восседал бы на площадке для жертвоприношений старинного храма, попивал густой терпкий мате... И ловил пылинки, что пляшут в солнечном луче.

– Ого! А не долго ли ты собрался там восседать?

– Думаешь, закис бы от скуки? Да ни черта! Я бы еще и в Мексику, на родину ацтеков, рванул... Помнится, я где-то читал, что они были страстными игроками в мяч. Ты только представь, Вань, мяч размером с голову надо было пробросить сквозь каменное кольцо. Ацтеки ставили на кон драгоценности, наложниц, города, свободу... Игра оканчивалась жертвоприношением лучшего игрока победившей команды. На верхней площадке пирамиды жертву укладывали на каменную плиту и ритуальным обсидиановым ножом с трудом раскрывали грудную клетку, вынимали сердце и поднимали к солнцу...

Радонов посмотрел на мелькавших в дверях моряков и добавил:

– А впрочем, грудную клетку и скальпелем-то раскрыть непросто... Это я тебе как доктор говорю...

– Широкорад что-то запаздывает, а? – неожиданно перескочил на другое Иван Сергеевич.

– Придет... У парторга Метальникова вахта, значит, Саня как его зам и будет здравицу командиру молвить...

– Башка!

– А то!

Вадим Сергеевич обшарил взглядом кают-компанию и усмехнулся:

– Нет, ну ты вникни... Какой сонм характеров! Какая галерея портретов! Вот взять хотя бы Борейко... Талия у нашего кока уже начисто упразднилась... А чего он больше всего боится? А того, что разговор вдруг зайдет о носах.

– Конечно, боится... – выхватив глазами перекатывающегося между столиками Борейко, согласился Иван Сергеевич. – Ты ведь его за гоголевский нос окрестил Носом, вот и мается теперь человек.

– Да, брат, я страшно виноват перед Мишей... Все из-за моего злого языка! Конченный я человек... Каюсь и грешу, грешу и молюсь... словно бы злой дух направляет мою жизнь... А впрочем, если поразмыслить: ну вот за что я себя так корю? Подумаешь, Борейку Носом прозвал. И поделом! Вот что он за кок? Ты вспомни прежних корабельных коков... Чёрный Джек, одноногий Джон Сильвер и кок, сунувший железку в нактоуз компаса пятнадцатилетнего капитана...

– Вадик, так это все только приключенческие романы, где кок обычно выступает в роли драматического злодея, такого злого духа.

– Эх, романы! – восторженно раденов. – А в жизни... В жизни лишь добропорядочный Борейко со своими поварскими изысками. А не угодно ли четвертушку ящерки или лягушачьей филейки? Бр-р-р... Чувствительно благодарен, но нынче у меня нет ни малейшего аппетита...

Как бы там ни было, кто бы что ни плел, но мичман Борейко на всем Северном флоте слыл лучшим коком. И это факт! Одни коки готовили стоя. Другие – только в голубых

фартуках. Третьи – сидя на деревянной табуретке. Четвертые – шагая по камбузу. Михаил Григорьевич Борейко пробовал и так и этак. И все его блюда получались баснословными! Особенно десерты. Сладости.

К сладкому же Борейко тянулся с детства. И маменька его, умиляясь, говаривала: «Чудо для крошек, леденец за грошик».

В карманах Мишиных школьных брючек всегда имелся запас ирисок или пряников. И Борейко частенько поглощал их прямо на уроках. Из напитков же он предпочитал грушевый квас. Повзрослев, верность квасу Миша сохранил и сам готовил его из отборнейших груш.

Борейко обожал фрукты и даже писал маменьке в Полтаву, что точит на них зубы, ибо фрукты поспели в саду, а он приедет в отпуск, когда сад будет ужасно опустошен: «Жаль только, что мне не достанется отведать клубники: отойдет к тому времени». Борейко писал и сестре Любаше, напоминая, что маменька обещалась прислать сушеных вишен без косточек, до которых он тоже был охотник. И вишни, конечно же, ему посылались. Бывало, Михаил Григорьевич один уминал целую банку варенья, увлекая сестру разговорами. Пока Любаша слушала брата раскрыв рот, банка опустошалась – Борейко успевал все.

Долгое время он умудрялся не замечать колкостей Радонова, говорившего, что он, Миша, «французится, а потому и не исторг из себя Париж, как застрявшую занозу». Борейко и впрямь очень ценил французскую кухню. И даже учил французский язык по неизвестно откуда взявшейся у него кулинарной книге, изданной, как утверждал Радонов, «в самом городе Париже». Подкосило кока лишь прилипчивое прозвище, да и то, кажется, ненадолго. Уверив себя в том, что Нос есть человек, с утроенной энергией кок ударился в лингвистику и достиг во французском языке поразительных высот. Дошло до того, что ему стали сниться фона-

ри, мерцавшие вдоль Сены. Темные и безжизненные барки у причалов. А еще бледные поникшие листья на ветвях платанов. Ночи в этих снах стояли холодные, синелунные, и Борейко глядел на воды, уносившие вдаль отражение лунного света. И потому теплый аромат бараньих почек под соусом из парижских ресторанчиков всякий раз достигал его обоняния.

Широкорад явился в кают-компанию последним. Присел за столик к друзьям и тотчас же узнал строки Рубена Дарио:

*Взъерошив перья, шелковист и нежен,
любовью ранен он – и потому
по-олимпийски прост и неизбежен
и Леда покоряется ему.
Побеждена красавица нагая,
и воздух от ее стенок пьян,
и смотрит, дивно смотрит, не мигая,
из влажной чащи мутноокий Пан.*

– Признаю, признаю, – всплеснул руками Радонов, – поэзия этого латиноамериканца восхитительна... Особенно в твоём исполнении, Вань!

В многозначно-многоцветной улыбке доктора было что-то лукавое.

– Но я не вижу связи, – продолжал Вадим Сергеевич, – между Дарио и нашим премилым коком. То, что Борейко вступил в противоборство с мичманом Пальчиковым из-за какой-то там Леды, совсем не убедительно.

– Не Леды, а Леры, – вмешался в разговор друзей Ширококорд.

– Я в курсе, Сань... А ты что опоздал?

– Да так... С Метальниковым нужно было кое-что обсудить...

– Постой... Поздравительную речь обсуждали?

– Вадик, да ты ясновидящий...

Развить мысль Широкоград не успел – ржавый голос старпома вернул к главному.

– Товарищи подводники, – скрежетал Пороховщиков, – сегодня нашему командиру – тридцать восемь! Всю жизнь на флоте – так, наверное, сказать нельзя. И все же... Пятнадцать лет после училища. И все годы – на лодке одного и того же проекта, 667-го, Сергея Никитича Ковалёва, в одной и той же флотилии и одной и той же дивизии. В должности командира группы – два года, штурмана – три, помощника – два, старпома – три, командира – пять. А всего – двенадцать боевых служб...

Пороховщиков говорил недолго, но все самое важное выразил: и о чести, являющейся «единственным законом мужчины», и об офицере, который «есть образ Родины для солдата на поле боя», и о тайне солдата, заключающейся в том, что «в его характере, в его природе и замысле ступешаться, предоставить высшую волю другим, себе оставить исполнение, существование в тени, в безымянности...»

Следом выступал Базель. Он – баял. Напустив на себя знатный вид, так растянул поздравительную речь, что Радонов едва выдюжил. А потом еще и сетовал друзьям, что после базелевского выступления он совершенно потерянный и слепой – «без политической души». В итоге же расхохотался и заявил Широкограду с Первоиванушкиным:

– А я догадываюсь, отчего замполит так разошелся... Радость у него! Ну а что? Купил, к примеру, билет «Спортлото» и выиграл безбожно много денег...

Сам же Радонов пожелал командиру того, чего желал в подобных случаях всем членам экипажа, а именно – «сибирского здоровья и кавказского долголетия».

Добавил к поздравительной низке свою речь и заместитель парторга Широкоград. Говорил горячо. Говорил

и о командире, чьи «идеалы однообразны и постоянны», и о смысле жизни, который «не может быть большим или маленьким – он непременно сочетается с вселенским и всемирным процессом и изменяет его в свою особую сторону, – вот это изменение и есть смысл жизни...»

Подводники потом между собой речь Широкограда признали лучшей. И вот после командирского алаверды наступил черед кока. Огромное блюдо с цыпленком табака было внесено в кают-компанию с таким артистизмом, что все взгляды невольно приковались к Борейко. Уж он попотчевал экипаж! Икрой красной, грибками с чабрецом, грибками со смородинным листом, мясными рулетами и биточками, паштетами и вкуснейшей пастой. А еще караваями, гречаниками и пампушками. В общем, был в ударе.

– Восхитительно, жизнью замполита клянусь, – рычал Радонов, – восхитительно! Не угодно ли вам тоже проглотить ложечку, побратемщики?

И побратемщики не отказывались.

Первоиванушкин хлопал по плечу Широкограда, а тот смеялся в густые черные усы.

– Я готов, – веселил друзей Вадим Сергеевич, – кушать вместо четырех пять раз в день, чтобы вдосталь насладиться поварским искусством Миши Борейко... Словно это и не Миша вовсе, а какой-то исполин является по первому зову, стоит только несколько раз повернуть кольцо, или потерять чудесную лампу, или вымолвить Соломоново слово... Да-да, является и подносит роскошные яства в золотых чашах...

Уже ночью в каюте Широкоград почувствовал, что переел и что ему «кюхельбекерно и тошно...» Поэтому не улегся, не вытянул ног. А облокотившись на столик, рассматривал портреты жены и дочери в дубовых рамках. И вдруг забавный кунштюк – из дальних закоулков памяти выудилось:

*Я был в избушке на курьих ножках.
Там все как прежде. Сидит Яга.
Пищали мыши и рылись в крошках.
Старуха злая была строга.
Но я был в шапке, был в невидимке.
Стянул у старой две нитки бус.
Разгневал ведьму и скрылся в дымке.
И вот со смехом кручу свой ус.
Пойду, пожалуй, теперь к Кощею,
Найду для песен там жемчугов.
До самой пасти приближусь к Змею.
Узнаю тайны – и был таков...*

Глава седьмая

До наступления четвертой стражи Широкоград открыл глаза и увидел, что дверь в каюту распахнута и в проем струится белесый снежный свет. Холод объял мичмана, как на мостике в шторм. Александр Иванович взглянул на циферблат своих водонепроницаемых часов. Три. Три часа ночи. И вот когда уже высунулся краешек четвертого часа, Широкоград встал, надел белую рубашку и китель.

«А может быть, что-то случилось со временем? Сколько сейчас?»

Часы тикали на его запястье. Мичман смотрел, как бежит стрелка.

– Чем дальше, тем любопытственнее!

Воображение Александра Ивановича оживляло пустынные отсеки подлодки. Призраками ходили моряки, слышались голоса.

«Даже тени здесь не принадлежат этому потаенному судну и созданы не этим светом – они простираются из забытого мира, не знавшего паровых двигателей, электричества, магнетизма и... плутония».

– Эхой!

Никто на призыв Широкограда не откликнулся. Звук его голоса погас, будто в пустом трюме.

– Куда вы все запропастились? Моряки?

«Они работают исключительно ради respublica. Ох уж это общее дело! Первогодкам, конечно, туго приходится... А впрочем, в восемнадцать и сам черт не черт, а цветочек чертополоха...»

– Да где ж вы все, а? – Мичман рассыпался мелким смешком. – Словно растаяли.

На ГКП царила особенная тишина, будто там ждали Александра Ивановича и всего за какое-то мгновение до его появления вдруг исчезли.

– И здесь ни души! Только светильники полыхают.

«И семи золотых светильников есть сия...»

В ярком свете Широкоград казался совсем-совсем белым. Он попытался задраить водонепроницаемую дверь, но заел кремальберный затвор. В соседнем отсеке кто-то мелькнул, и мичман кинулся туда – бледно-желтая фигура словно растворялась в воздухе. Блазила.

«Никак гость?»

Руки Широкограда метнулись ко рту. И мичман свистнул молодецким посвитом.

Фигуры как не бывало.

– Во дела! Сыпь песочек в желтенький черепочек...

«Хотел бы я все пронизать. А гость... Откуда он взялся? Это было только видение. Разумеется... Только видение».

Неожиданно раздался глас трубы.

«Ревун», – сообразил Широкоград.

– Я не ослышался? Боевая тревога?

И как в подтверждение из переговорного устройства вырвались слова Воркуля: «Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая шахты к пуску ракет готовы...»

– Ракетная атака! – скомандовал Савельев. Голос его был тверд как никогда.

Александр Иванович не верил в происходящее до тех пор, пока палуба под ногами не просела, как лифт. И с каждым последующим ракетным пуском проседала все сильнее, пришлось даже схватиться за поручни, чтобы не упасть.

Дрожь била подлодку и сообщалась Ширококоряду.

– Боцман, ныряй на сто семьдесят метров! – приказал Савельев.

– Есть, командир!

...Глубина обезболивала душу, сто семьдесят метров глушили чувства.

– И когда Он снял седьмую печать, – шевелил губами раб Божий Александр, – сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом... И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источник вод. Имя сей звезды «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была – так, как и ночи. И пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны...

«Как будешь во времени – обо мне вспомни!»

– Каком еще времени? И кого я должен вспомнить?

«В старые годы, в старопрежни, сказали бы, что это наваждение...»

– Ничего такого быть не может... Э-э, надо отыскать замполита... Он уж точно знает, что стряслось...

Ноги сами понесли Широкограда напрямиком к Базелю.

«А ведь замполит на ведьму смахивает... Сгорбленный, да еще и с рыжими волосенками. Нет, ну ведьма... Того и гляди прикажет: “Ступай, садись на лопату!” И, захлопнув печную заслонку, взвояет: “Покатаюся, поваляюся, Ивашкина мясца наевшись!”».

Александр Иванович прислушался, постучал в базелевскую дверь и с опаской отворил ее. В сумрачном капище умирала тишина – Льва Львовича и след простыл. Мичман вошел, крутнулся на каблуках, взял со столика кипарисовые четки замполита, повертел и машинально сунул в карман брюк.

– Спокойствие, только спокойствие! – сказал сам себе Широкоград. – Обойду все отсеки. Проверю... Кто-то ведь должен быть на лодке...

Но сколько мичман ни усердствовал, никто на глаза ему так и не попался. Оставалось проверить лишь мироварню Борейко, и он сунулся туда. На первый взгляд все там было как и всегда: пахло борщом да компотом. И запахи наслаивались один на другой. Широкоград осмотрелся. Внимание его привлек поднос с мандрагоровыми яблоками. Ароматнейшими.

– Гм, прямые поставки из Средиземноморья...

«А не этими ли яблоками нас потчевал на праздничном обеде Миша?»

Рядом с подносом высилась замшелая бутылка вина.

– Ну чем не натюрморт?

Широкоград взял длинношеюю бутылку и поднес к свету – за зеленым стеклом морщились многоцветные огни.

– Так-так, очень любопытно... – сказал Александр Иванович.

«Дурное обыкновение римлян, – припомнилось вдруг мичману, – да, дурное... не закупоривать вина, а сохранять их под слоем масла, лишило его величества удовольствия отведать древнеримского вина. Но если это вино и не столь старо, как древнеримское, то все же оно самое выдержанное из всех существующих на свете...»

И тут Широкоград заметил то, на что поначалу не обратил внимания вовсе. Это была плетеная корзина, накрытая старой, но чистой ветошкой. Когда Александр Иванович сдернул ее, то аж отпрянул от корзины. В ней копошились какие-то причудливые крабы – у каждого на панцире можно было различить человеческое лицо... На одном – Савельева, на другом – Пороховщикова, на третьем – Базеля... И далее по ранжиру – Метальникова, Ромашкова, Добрушина, Замкова, Покорского, Первоиванушкина, Радонова, Мороза, Палехина, Нагайцева, Воркуля, Ездова, Кормилицына, Пальчикова, Шабанова, Братченко, Игнатова, Кауриса, Кляйна, Аксюты... На панцире же самого большого краба – лицо не кого иного, как Борейко.

Ветошка выпала из рук мичмана.

– С кем же теперь преломить хлеба?

...Заканчивалась четвертая стража.

Образы потухали – как уличные фонари по утрам.

– На престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, – само собой наворачивалось у Широкограда, – которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы...

«На венцах» Александр Ивановичи запнулся – вдруг вспомнил то, что уже давно силился вспомнить: «Тот, кто поймет, что его день – это всего лишь чужая ночь, что два его глаза – это то же самое, что чей-то один, тот будет стре-

миться к настоящему дню, дню, который принесет истинное пробуждение из собственной яви, когда все станет куда более явственным, чем наяву...»

– Нет, нет... Дело вовсе не в каком-то там пробуждении... А в чертовых нервах...

Мичман вытащил из пачки сигарету и, уняв дрожь в пальцах, чиркнул зажигалкой. Он стоял и курил, завитки дыма лезли ему в нос и глаза, но он не обращал на это внимания и крутил свой ус.

– А, вот ты где! – влетел в курилку Радонов. – Вникни! У Базеля четки попятители...

– Четки?

– Ну да... кипарисовые... Ничего особенного... Но они дороги ему как память. И теперь Лев Львович со своими послушниками и шаркунами, Покорским и Каурисом, их разыскивает... Что ты на это скажешь?

– Я?

– Ну-ну... Не тревожься! Говори!

– Да что говорить?

– А что ты обо всем этом думаешь?

– Слушай, Вадик, отстань... И так голова раскалывается...

– Ладно, брат, ладно. А знаешь, зачем Базелю эти дурацкие четки? Нет? Я тебе сейчас объясню... Из-за наследственности... у него мизинец кривой – точь-в-точь как у прадеда... Четки же он крутит... э-э, крутил... именно мизинцем. Чтобы, значит, скрывать изъян... Теперь-то понял?

– Понял, Вадик. И что из того?

– Как что? Пойдем четки искать.

– О, это без меня...

– Сань, а ты почему так моими часами любишься?

– Нипочему... Хотя нет... Надо бы время уточнить...

– А, ну конечно, уточняй! Уже... Шесть. Отставить! Шесть ноль одна...

– Благодарствую!

Широкоград сунул руку в карман брюк и чуть не онемел: «Не может быть... Неужели это базелевские четки? Откуда?»

– Не благодарствуй, брат! – заорганил Вадим Сергеевич. – Хочешь совет? Иди отдохни! Ты хреново выглядишь...

– То есть апокалиптически?

– Вот-вот... так, вероятно, и выглядел бы уцелевший в атомной войне...

– Ты что, действительно даешь мне больничный?

– Даю... Я же – доктор.

– Доктор, а как ты объяснишь то, что я Откровение Иоанна Богослова знать знаю, но никогда не читал...

– Знаешь? А ну-ка!

– И солнце стало как власяница, – забормотал Широкоград, – и луна сделалась как кровь. Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?

– И правда, силен... А может, ты все-таки читал? Ну, случайно как-нибудь... Взял у Базеля и прочитал...

– Да при чем здесь Базель?

– Как это при чем? Завел же он зачем-то четки... Значит, мог и Библию завести...

– Постой! Ты же говорил, что четки нужны замполиту, чтобы скрывать свой изъян... Этот кривой мизинец...

– Эх ты! Такой большой, а все в сказки веришь...

Продолжение следует.